

4-й год изданія

Opłata pocztowa uiszczona ryczałem

МЭЧ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЪ

Международное положеніе. Политическія извѣстія.
Точки над і. Г. С.
Дѣла Московскія. А. КУТУМОВ.
Адострой. Александр АМФИТЕАТРОВ.
Культ и культура. А. КАРТАШЕВ.
Да воскреснет Бог! Протоіерей Н. ЕЗЕРСКІЙ.
Преодоленіе „чеховщины“. Ю. ПЛОДОМАСОВ.
Еще о Маяковском. Л. ГОМОЛИЦКІЙ.
Коронація в Англи.
Стихотвореніе. Вѣра БУЛИЧ.

И Б Н А
№ 20
ГРОШЕИ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Р е д а к ц і я:

В. В. Бранд, Г. Г. Соколов.

Варшава, Воскресенье, 16 мая 1937 г.

№ 18 (154)

Адрес редакціи и конторы: Warszawa, ul. Chocimska 35.
Tel. 9.33-36. : : : Skrzynka pocztowa № 360. : : : P.K.O. 28.638
Подписная плата за 3 мѣс. 2 зл., за полгода 4 зл., за 1 год 7.50
В остальн. част. Европы 0,60 ам. цент., Америкѣ — 1 ам. долл.

Объявлен.: в текстѣ 60 гр., за текст. 30 гр. за миллим. стр. Перемѣна адр. 50 гр

Преодоление „чеховщины“

(По поводу постановки „Вишневого Сада“ в Театре Польском)

Встреча с Чеховым — трудная встреча. Слишком полна содержанием долгая разлука. За тридцать три года, что миновали со дня его смерти, над Россией разразились две войны, три революции; двадцать почти лет длится новое иго. Все ценности старой культуры подверглись переосмыслению, каждое явление обернулось иными смыслами, видятся новыми глазами, по-новому воспринимается, по-новому воздвигается на сознание и психику.

Чехов не набыл общей участи. Его творчество приобрело иной смысл, заняло иное место в иерархии ценностей литературных и общественных. Громадная часть чеховского наследия вошла навсегда в „золотой фонд“ русской литературы и заняла в ней по праву достойное место. Но отношение к Чехову изменилось.

Отношение это, впрочем, никогда не было однородным. Для многих Чехов был и остается „веселым“ писателем, не превосходящим мастером литературного анекдота, автором „Медведя“, „Предложения“, „Свадьбы“, „Хирурга“... Для других был он певцом „лишних людей“, „недотеп“ разных категорий и видов. Тургеневский „князь-дворянин“, в зависимости от эпохи, сменился тоскующим интеллигентом, непригодным к жизни, безпочвенным, безвольным, пораженным каким-то внутренним параличом. Психологизм, воплощенный в бесконечной веренице каждому понятных, каждому лично знакомых образов дала творчество Чехова общедоступным, творчеством постижим для многих. Никакого напряжения, никаких усилий не требовал писатель от своих читателей, никаких загадок им не задавал.

Но и тогда, в ту уже историческую для нас эпоху, современником которой был Чехов, будил он протест, подобный протесту-бунту Розанова против Гоголя. В известной степени и к Чехову приложим розановский суд о Гоголе: „генильные формы, за которыми ничего в сущности не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их“. Отвергая распространенный в свое время взгляд, что русская литература пошла от Гоголя, Розанов утверждал, что послужило гоголевская литература преодолением его яда, что главным ее делом было „возстановление достоинства в человеке, которое он у него отнял“.

То, что увидел Гоголь в человеке, конечно, в человеке было и есть. Но это еще не весь человек. Не всего человека увидел и Чехов, не всю правду знал, чувствовал и запечатлел в своих навсегда врезавшихся в память то ядовитых то добродушных карикатурах.

Протест не против Чехова, но против чеховщины, которая была стихией его творчества, знали уже современники писателя. Нынче протест этот обогатился новыми аргументами.

О Чехове заставил нас вспомнить



II акт. Раневская (Штильмарк-Потоцкая), Варя (Боровская) и Аня (Стемплюнова)

Театр Польский, поставив „Вишневый сад“.

В постановке Театра Польского, не свободной от некоторых недостатков, особенно остро ощутилась русским зрителем, пропасть, отделяющая его от Чехова. Если раньше, до войны и революции, протест возбуждало чеховское неуважение к человеку, его общий с Гоголем герой — „пошлость пошлого человека“, (а пошлость есть во всех людях), нынче зарождается бунт против Чехова, как недостойного историка определенной эпохи, лицемерного судьи, не разобравшегося как следует в деле.

Русская интеллигенция, все эти „лишние люди“, „вытетки“, правдивые болтуны, на изображении которых проявил свое мастерство Чехов, оказались не такими, не теми, кого, казалось ему, он знал. Русская интеллигенция после катастрофы очень удовлетворительно слала свой жизненный экзамен в эмиграции, а неуверительные и бесплодные призывы чеховских героев: „работать надо, работать“, звучат нынче досадным и фальшивым анахронизмом. Что же касается русской интеллигенции в советской России, то это — тема особая.

Все было и есть в России: и Маниловы, и Чичиковы, и Хлестаковы (да только ли в России?) и чеховские Ивановы, по суд над Россией, давшей Гоголя и Чехова, нельзя выносить на основании этих героев, их дел и безделья. А кажется, именно так воспринималось польским зрителем „Вишневый сад“, этот будто бы обвинительный акт против русской интеллигенции и русской „больной“ психологии.

Пьеса, связанная для нас с определенной эпохой, превратившаяся в ценную литературную реликвию, утратившая живую силу воздействия. Мы знаем то, чего не знал Чехов,

Мы знаем подавляющую судьбу Раневских, Гаевых, Лопухиных, мы знаем, что нес „Прохожий“ и почему грозной тревогой повисло от его появления. Мы знаем, что историческая встряска вывела к жизни даже и в чеховских героях свойства и качества, которых творец их не подозревал.

И думается для иностранцев, не переживших русского опыта, „Вишневый сад“ должен быть куда современнее, нежели для нас. Многие для них — сегодняшний, а не вчерашний день.

Постановка „Вишневого Сада“ именно теперь имеет глубокий смысл, как предостережение, как напоминание о непреодоленных слабостях.

Если говорить правду, что ведь чеховский мир и легкомысленная, грешная и милая Раневская, и Гаев и даже Лопухин с Епиходовым, не говоря уж о Варь, вечно Варь — незамысловатой и невинной Марфь, пекущейся о многом и многих, возможны не только на русской земле.

Дух обреченности был тонко уловлен в варшавской постановке. Г-жа Питоцкая-Потоцкая по своему изображению главную героиню. Ея Раневская не была чарующей и безответственной грешницей, несмотря ни на что, полной надежд на будущее. Старящая несчастная женщина, у которой все в прошлом, уходила из жизни, а не цеплялась за нее. Такая трактовка роли была особенно убедительной, потому что на этом фоне Варя в свои силы, в будущее Пети (г. Роланд) и Ани (г-жа Стемплюнова) звучала по-иному. Раневские и Гаевы уходят, ушли, но молодая поросль русской интеллигенции оказалась отнюдь не никчемной. Г. Юноша-Стемплювский, изображавший Гаева больным и увальным человеком, быть может, сознательно подчеркнул „конечность“ этого старого милого ребенка. Сложная роль Лопухина не раскрылась в игре г. Самборского. Бессознательная влюбленность в Раневскую не чувствовалась в ней; третий акт — приезд нового владельца „Вишневого Сада“ — был сыгран грубовато. Чрезвычайно хорош г. Курякович-Симеонов-Пшиц.

Несколько слов отдельно о Варь — г-же Боровской. Молодая польская артистка сумела перевоплотиться в русскую девушку. Была трогательная простота и правда в этой бедной Варь, полной деятельной любви, грубоватой и нелюбимой, смиренной и мужественной. В памяти невольно возникал образ другой Вареньки со сходной судьбой — незамысловатой героини „Ани Карениной“.

Если старательная постановка Польского Театра, если прекрасная игра некоторых исполнителей не в силах заглушить в нас чувства извечной неудовлетворенности, едва ли можно винить за это театр. Причина таится в том, что мы хотим освободиться от „чеховщины“, что мы преодолеваем ее и по мере преодоления чеховский мир становится нам все более чуждым.

Но пьеса была поставлена не для русских, а для польского общества. И выбор пьесы вполне оправдан, имеет глубокий смысл, быть может, не сразу и не легко улавливаемый.

Ю. Плодомасов.



III акт. Варя (Боровская) и Лопухин (Самборский)



III акт. Остров